В.П. Хавин
О Владимире Ивановиче Смирнове[1]

19 мая 2008 года

В ноябре было заседание Петербургского математического общества, посвящённое 120-летию Владимира Ивановича Смирнова. Я там выступал и, просто ввиду ограничений по времени, не успел сказать всё, что планировал. Сейчас я продолжаю то, о чём говорил в ноябре. В феврале смотрели видеозапись выступления Михаила Соломоновича Бирмана, который много лет сотрудничал с В.И. Я под большим впечатлением от его выступления...

Впервые я увидел В.И., по-видимому, в 1952 году, это начало нашего 3-го курса, он начал читать курс комплексной переменной. Прочитал лекции 2-3, не больше, но я помню, как он объяснял уравнения Коши - Римана. А примерно через год в семинаре Канторовича - Фихтенгольца, мне, тогда студенту 4 курса, поручили сделать цикл докладов. Леонид Витальевич каким-то образом получил из Франции книгу Поля Леви «Конкретные проблемы функционального анализа» (тогда это было редкостью, чтоб получали иностранную литературу), и было к ней приложение по теории так называемых аналитических функционалов, — ну, и мне поручили в этом разобраться и доложить. Я сделал несколько докладов, на которые приходил В.И., и там меня ему представили. Встреча с ним и дальнейшее общение — для меня это был судьбоносный момент, это всего лишь один конкретный пример того, что В.И. проделывал много-много раз, можно сказать, запуская профессиональную карьеру молодого человека. Таким образом он поддерживал десятки людей. М.С. тоже рассказывал, какую роль В.И. сыграл в его профессиональном становлении.

В.И. был, по-моему, как раз с 1953-го года, заведующим нашей кафедрой, в этом смысле мне повезло, и когда я уже был аспирантом, так вышло, что мои первые печатные работы проходили через него. (Он не был моим научным руководителем, руководителем был Леонид Витальевич Канторович, но, пожалуй, с В.И. я встречался больше и чаще.) Самая первая работа — в Вестнике Ленинградского Университета, ее он передал просто в редакцию; потом были заметки в ДАН, и тогда я несколько раз приезжал к нему на дачу в Комарово, и потом неоднократно бывал у него там, ну, и на улице Рентгена, у него дома, и, конечно, мы встречались много раз на факультете. Он очень тщательно вникал в эти заметки, редактировал, заставлял переделывать и был очень добр и внимателен.

Еще был момент, для меня в ту пору очень существенный, в 1955 году: наш курс закончил матмех, наступило распределение. Если бы оно, скажем, происходило в 1953-м, или даже в 1954-м году, то никакой В.И., при всём его огромном влиянии, ничего бы не мог сделать. А в 1955-м году меня, как и двух моих товарищей — Бориса Михайловича Макарова и Дениса Артемьевича Владимирова, оставили на факультете. Сидела комиссия, было выставлено старинное кресло, в него сажали кандидата на оставление, и В.И. смотрелся сзади — просто стоял молча. Может, это тогда и не было уже так важно, но я помню этот момент...

Затем началась аспирантура, в течение которой я неоднократно обращался к В.И. и обязан ему многими чрезвычайно ценными советами. Один из главных ре-

[1] Перепечатка с сокращениями стенограммы выступления на заседании ПМО; источник: http://scilib.narod.ru/Math/Smirnoff/Xavin.htm — *ред.*

зультатов моей диссертации: я придумал некую теорему и показал В.И., он мне говорит: «А знаете, что-то такое, я помню, было у Голубева». Я пошёл в БАН, разыскал диссертацию Голубева, нашёл эту теорему в виде гипотезы. Оказалось, что я решил гипотезу Голубева. Вот один пример помощи В.И.

Важный момент в моей жизни был такой: я написал кандидатскую диссертацию, и меня известили, что В.И. будет моим оппонентом. Я, конечно, об этом не мог и мечтать — это была большая честь. Потом, через продолжительное время, пришло время докторской диссертации, В.И., встретив меня, просто сказал: «Я буду вашим оппонентом». И он принялся мою диссертацию читать. Тогда у меня не было телефона, и он писал мне письма — он готовился таким образом к написанию отзыва и присылал свои комментарии. А потом меня вызвали к нему, передали, что он просит меня приехать. Уже было время к защите. Я приехал. Он, полностью одетый, в костюме лежал на диване и сказал, что болен и боится меня подвести, и поэтому просил исключить его из числа оппонентов и сказал мне, что «если я поправлюсь к Вашей защите, то приеду и выступлю». И он поправился, приехал и выступил.

Я также был своего рода референтом у В.И. Он мне поручал докладывать ему те работы, которые ему присылали со всей страны, с просьбой представить в Доклады Академии Наук. Я должен был разобраться и ему доложить.

Другая серия встреч, незабываемая, связана с тем, что я был редактором книги «В.И. Смирнов, Н.А. Лебедев. Конструктивная теория функций комплексного переменного». Весной - летом 1964 года много раз мы с Николаем Александровичем Лебедевым приезжали к В.И. на дачу и по много часов занимались, они реагировали на мои редакторские замечания. Тогда он уже был постарше, чем я теперь, и я теперь хорошо понимаю, что это значит, — тем не менее, работал он помногу, по-настоящему. Я помню, что всегда после окончания работы он провожал нас...

Были и другие встречи, он давал мне поручения по 5-му тому. Однажды он меня остановил и сказал: «Напишите мне для 5-го тома доказательство теоремы Лебега об интеграле Римана для многомерного случая»...

Нужно добавить несколько слов о математической деятельности В.И., о работах собственно по комплексному анализу...[1]

По инициативе О.А. Ладыженской, которая вложила в это много души и энергии, издан двухтомник сочинений В.И. в издательстве Университета. О В.И. есть очерк, принадлежащий перу Гранина (в его книжке: «Месяц вверх ногами», путевые очерки о поездке в Австралию). Имеется книга, принадлежащая перу Полубариновой-Кочиной. Она знала В.И. и написала о нем воспоминания. И в двухтомнике, о котором я сказал, есть большая вводная статья О.А. Ладыженской, очень интересная, в которой рассказано очень много о В.И.

Хочу подчеркнуть свойственную В.И. большую простоту в общении, полное отсутствие какого бы то ни было чрезмерного, скажем, пафоса, излишней эмоциональности. Он чрезвычайно был прост и по-хорошему спокоен. Хотя человек он был глубокий и многое происходившее, несомненно, глубоко переживал. Простота его речи, его манеры говорить, его тона — это то, о чем мне хочется вспомнить.

Вспоминаю, например, такой эпизод. В начале 1960-х годов происходит заседание, по-моему, методической комиссии. Идут споры, как что надо преподавать. А я в ту пору склонен был очень сильно кипятиться, толкать речи, во многом под влия-

[1] Эта часть выступления в данной публикации опущена — *ред.*

нием моего учителя Глеба Павловича Акилова, что нужно, чтобы все было безумно строго, аккуратно. Вот на заседании я что-то такое, с таким надрывом говорил...

(Мы тогда находились под обаянием проклинаемых ныне книг Бурбаки. Еще не было русских переводов, к нам доходили отдельные выпуски по-французски. Арнольд пишет, что это преступники, прямо вот так. Но тогда мы очень этим увлекались. Эти проклятия модные я все равно не разделяю. На самом деле, этап «бурбакизма» должен был быть, через него математика должна была пройти, это была реакция на многолетнюю, двух- или трехвековую традицию непонятного изложения математики. При всем том, что изложение становилось все более отчетливым, все более строгим, все равно существовали вещи, проникавшие в учебные курсы, где буквально нельзя было понять, что говорится. Это было во всем мире. И вот Бурбаки — это была естественная реакция на такую манеру. Это должно было быть. Я уж не говорю о том, что там есть замечательные содержательные тома, например, том ТФВП, там масса материала, которого не найдете ни в каком учебнике анализа. Представляют: Бурбаки — это какие-то терминологические ухищрения, заумь какая-то. Да, своеобразный язык, но там есть замечательное содержание, асимптотики, совершенно конкретные аналитические факты.)

И вот, когда мы выходили после этого заседания, я оказался рядом с В.И., и он у меня так печально спросил: «Скажите, а по жизни Вы всегда строго по логике поступаете?». Я так был озадачен этим вопросом. Но вот теперь я думаю, что до конца понимаю, что он хотел сказать, это очень в его манере: вот такая исступленность, которую, возможно, я проявлял, она невероятно ему претила, — и правильно. Борис Сергеевич Павлов очень любил рассказывать такую его фразу: «Что значит доказать? Это значит сказать то же самое громким голосом». Это очень в его духе.

Конечно, главный труд его жизни — знаменитый пятитомный курс. Хотя там, особенно в начальных томах, может быть, можно придраться, но, в общем-то это, я думаю, образец разумной строгости, о которой говорил Чебышёв, я это видел в предисловии к книге А.Н. Крылова: «разумная строгость, которая, предохраняя от ошибок, придает непреложность выводам». Вот, видимо, это характерно для стиля В.И., без излишнего педантизма и надрыва.

А при всем том, что В.И. был прост в хорошем смысле слова, я хочу присоединиться к словам М.С., который сказал, что ощущал в В.И. некую потребность в служении, что вся его жизнь как-то подчинялась идее служения. Я полагаю, что, услышь В.И. эти слова, возможно, он бы не согласился, но на самом деле это было именно так. При всем том, что он был чужд всякой возвышенности и пафоса, но вся его жизнь, все, что он делал, по такой линии было направлено.

Он рассказывал о своих встречах с великими предшественниками. Рассказывал про старшего Андрея Андреевича Маркова. Казанское математическое общество объявило премию тому, кто создаст должное обоснование теории натуральных чисел. Марков совершенно вознегодовал и вышел из этого общества — и добавил, что «любая торговка на базаре лучше нас с вами знает, что такое натуральные числа». Другой эпизод. Младший Андрей Андреевич, будучи школьником, был отправлен куда-то в провинцию и там стал ходить в школу, в начальных классах. Приехал отец его проведать, встретился с учителем математики и спросил: «Как сын?» — Тот сказал: «Знаете, как-то вот нехорошо. Вот, не знает, что значит сложить два числа». На что Андрей Андреевич-старший ответил: «Ну, это ничего, я тоже не знаю».

Помню рассказ про Ляпунова: он не любил интегралы Лебега, правда, признавал нехотя, что бывают ситуации, когда удобно воспользоваться теоремой Фубини. Такая позиция свойственна тем, кто присутствовал при первом появлении значительных вещей. Расскажу об одном эпизоде, связанном с В.И., который я истолковываю именно так. Этот человек жил тогда, когда еще не было гильбертовых пространств, присутствовал при их появлении. И он был одним из первых, благодаря которому эти понятия зазвучали на русском языке. Вот 5-й том Курса — едва ли не первый такой русский текст, в котором в развернутом виде изложено начало теории операторов в гильбертовом пространстве. Так что то, что я сейчас расскажу, надо воспринимать как мелкую деталь. Когда я был редактором книги Смирнова и Лебедева, я обратил внимание, что там есть две главы, в которых фигурирует гильбертово пространство: пространство функций, суммируемых с квадратом на кривой, а потом — функций, которые суммируемы с квадратом в области. И в той, и в другой главе объяснялось, что такое ортогональность, полная система, неравенства Бесселя... И я спросил у В.И.: «Зачем это все писать? Сказать, что вот скалярное произведение в гильбертовом пространстве...». На что я получил удививший меня ответ: «А Вы помните, сколько аксиом у гильбертова пространства?». Я, конечно, сказал, что не помню. Я не стал добавлять, что принадлежу к тому поколению, которое о таких вещах не задумывается, а просто живет в гильбертовом пространстве... В общем, остались эти две главы... Думаю, что это свидетельство того, что человек присутствовал и, в каком-то смысле, участвовал в появлении и распространении этих понятий, они для него сохранили первоначальную свежесть...

Возвращаясь к рассказу о знаменитых знакомых В.И., упомяну А.Н. Крылова. В.И. мне говорил, что Крылов однажды иронически сказал: «Я не понимаю, почему математики так увлекаются простыми числами? Взять простое число, прибавить единицу, и оно уже перестанет быть простым. Какой же интерес?». — По-видимому, такая страшная неустойчивость лишала А.Н. всякого интереса к проблеме.

В.И. был, по-нашему говоря, аспирантом Стеклова. И вот он рассказывал, что ему велел учить Стеклов. И мне запомнилась такая деталь, что важнейшие классические вещи было велено учить по первоисточникам. В.И. говорил, как он учил задачу Дирихле: то ли самого Дирихле он смотрел, то ли уже Перрона или Пуанкаре... Мне это запомнилось, потому что в идеале, конечно, это не осуществимо, но историю математики обязательно надо изучать именно так, по ней надо бы учить саму математику. Для подлинного хорошего понимания предмета очень здорово проследить его историю, как это придумывалось, как это было осмыслено первопроходцами.

К слову, занятия историей математики были частью его профессии, он уделял этому очень много души и времени. Он мне рассказывал о рукописях Эйлера, которые лежат до сих пор, не разобранные, в Библиотеке Академии Наук...

Скажу два слова о масштабе личности В.И. Мне представляется, что это был человек Эпохи Возрождения по разносторонности и глубине его знаний, прежде всего профессиональных. Как и сколько он знал по математике, в общем, и по механике, конечно, это делало его естественным заведующим очень многими кафедрами: матфизики, математического анализа, теории упругости, еще какими-то механическими кафедрами. И во всеоружии знаний по этим дисциплинам.

Потрясающая широта профессиональная. Но, кроме того, он профессионально знал очень многое в музыке, знал и умел. Он знал языки, в том числе древние.

Вообще, был чрезвычайно глубок во всем. Человек он был глубоко религиозный. (Его отец был законоучителем в лицее.) Этой своей веры он неукоснительно придерживался, в том числе тогда, когда это, мягко говоря, не поощрялось. И это у всех, кто его знал, вызывало, конечно, глубокое уважение. В этом не было ничего поверхностного и показного, ни в коем случае.

Насчет языков вспоминаю такой эпизод. В.И. попросил помочь читать корректуру 5-го тома на немецком языке. И я с ужасом обнаружил, что переводили какие-то невежды или халтурщики, просто безобразно было все переврано. Я приехал к В.И., и он, увидев все это, — он свободно читал по-немецки — вздохнул: «Не тот немец пошел». Все это настолько противоречило расхожему представлению о немецкой аккуратности. Не помню, как с английским, но французским он владел.

Скажу несколько слов о музыке. Мне, как до неба, далеко до знания музыки, которым располагал В.И. Он был профессионал, а я — страстный любитель, музыкоголик, но и все. Я не знаю нот. Так что мне как с ним беседовать?.. Он меня удостаивал иногда таких бесед, но я воспринимал всё как любитель, и просто слушал его. Я его многократно встречал в филармонии. Был период, когда значительную долю завсегдатаев филармонии составляли преподаватели и студенты матмеха. В.И. я там встречал иногда с нотами подмышкой. В его кабинете, в квартире, книги лежали везде, и всегда лежала какая-то партитура, он постоянно с этим делом разбирался.

Его суждения были для меня иногда странными, и я бы даже сказал, что слушал его с огорчением, — у него было свое восприятие, свои вкусы. Как-то он говорит: «Был я вчера в филармонии...». (Кажется, это был Караян, кто-то очень знаменитый приехал, и играли Пятую симфонию Бетховена.) «Вы помните, вот эта вторая часть...» — и он, к моему ужасу, сказал: «Вы знаете, даже Караян ничего не мог поделать с этой скучищей». Я был в известном смысле шокирован. М.С. говорил, что В.И. считал, что после Баха вообще была более-менее пустыня, что все послебаховское он почти не ценил. Но я должен возразить, потому что, скажем, он мне сказал, что у Бетховена нужно слушать четные симфонии, что они — настоящие. И я помню его слова о последних квартетах Бетховена. Он говорил, что это потрясающая музыка, написанная глухим человеком...

Могу добавить, он определенно выражал, что предпочитал Моцарта Бетховену. Он однажды сказал, что Бетховен был охвачен суетой: Третью симфонию то посвящал Наполеону, то не посвящал... а Моцарт такого рода вещами озабочен не был, он был формалист в лучшем смысле слова. Он просто писал красивую музыку. И когда я от него уходил, уже начинал спускаться по лестнице, и он, закрывая за мной дверь, высунулся из двери и вслед мне крикнул: «Слушайте Моцарта».

Помню, что он очень любил «Тристана и Изольду» Вагнера... В общем-то вся музыка для него что-то значила. Однажды В.И. меня удивил, ну, так, без любви, что называется, высказавшись о Шестой симфонии Чайковского, которую я безумно люблю. Смысл был такой, что слишком много эмоций, вроде того, что переложил он. Может быть, это связано с характером В.И., которому было чуждо чрезмерное проявление чувств вообще. Может, Чайковский не был его любимым композитором, но, конечно, он В.И. был известен, и, думаю, он все-таки был к нему неравнодушен.

Я как-то раз спросил В.И.: «А как Вы учились музыке?». На это он мне, шутя, конечно, ответил, что у него в доме музицировали, что бывали регулярно семейные концерты. «Я, — говорит, — маленьким бегал среди пюпитров, переворачивал ноты,

вот так и научился». Но, конечно, все было гораздо серьезней. Он знал музыку профессионально и однажды сказал (он очень любил Малера, из близких по времени композиторов высоко ценил): «Мы так его знали, до такой степени, что было ощущение, что готовы встать за дирижерский пульт». «Мы», по-моему, относилось к нему и к Дмитрию Константиновичу Фаддееву. Фаддеев тоже очень любил Малера.

В.И. проявлял живой и действенный интерес к людям. Прежде всего, конечно, к коллегам. Я уже говорил, что он поддерживал молодых всю свою жизнь, и я думаю, десятки людей могли бы рассказать то же. Однажды В.И. у меня спрашивает, во время деловой какой-то беседы: «Что такое функтор?». Ну, я кусочки теории категорий в ту пору как-то знал. Это было тогда очень модно. Что-то я ему ответил, с некоторым удивлением. Он тяжело вздохнул и сказал: «Вы знаете, я помогаю молодому человеку...». Впоследствии я узнал, что это был сын, по-моему, водопроводчика. Этот мальчик поступил в технический вуз, и там начали курс высшей математики с элементов теории категорий, этих вот парней учили, что такое функтор, а В.И. посетовал, что если производная положительна, то функция возрастает, — этого вот этот его ученик не знает... Но я к тому, что помогал он многим, разными вещами.

В.И. прожил, в общем, довольно тяжелую жизнь. Его жизненный путь проходил по очень неблагоприятной и, во многом, страшной эпохе, которая ему, что называется, воздавала сполна. Один из довольно страшных эпизодов в его жизни. Как-то я должен был ехать на детсадовскую дачу, где был мой малолетний сын. В.И. меня спрашивает, что я собираюсь делать. Я сказал, что надо разыскать детский сад, под Лугой, ориентир — деревня Шалово. В.И. очень оживился: оказалось, что в течение многих лет они снимали дачу под Шалово. Он мне сказал: «Этот район я знаю наизусть. Давайте, я Вам нарисую». И мне тогда В.И. рассказал, чем эти поездки на дачу окончились. Где-то в июне-июле 1941 года он с семьей находился на даче. Ну, война. Информации поначалу щедро не было, где и чего — было неизвестно. Вдруг доходят слухи, что немцы в Пскове, вот-вот будут в Луге, и что надо убираться. Ну, а до станции было довольно далеко, как-то с трудом нашли телеги, нагрузили кладью, посадили детей и приехали к вокзалу. Он меня спросил: «Помните ли Вы эту площадь перед вокзалом?». Да, я помнил, она была более или менее такая, как перед войной. «Вот, — говорит, — сидим мы на площади, в толпе, неясно, когда будет поезд, и будет ли. Тогда паровики ходили. И вдруг прилетают немецкие самолеты... Начинают кружить над площадью и стрелять из пулеметов. Мы, — говорит, — упали, положили детей на землю, легли на них сверху, а те, значит, кружат и стреляют...». И вот я запомнил на всю жизнь фразу: «Вы знаете, очень неприятно». Вот, как мне кажется, он весь в этой фразе. Ужас, там… «Очень неприятно». Кончилось тем, что никакого урона они, к счастью, не потерпели, пришел поезд, они сдали вещи в багаж, благополучно вернулись в Питер. И самое удивительное, что через день багаж прибыл, и они его получили...

Вот, это война... Вот М.С. однажды спросил у В.И., как он отнесся к февральской революции: было всеобщее ликование, красные банты, целования и так далее? И В.И. сказал, что сразу понял, что это ужасное бедствие и что оно повлечет огромные беды... Я вспоминаю, что однажды дома у него лежал на столе «Новый мир», журнал, который он читал. Что-то там про Блока. И я продекламировал конец поэмы «Двенадцать», что «в белом венчике из роз впереди — Иисус Христос». В.И. тяжело вздохнул, очень серьезно, и сказал: «Вы знаете, это было страшное заблужде-

ние». Я тогда был советский человек, я был так воспитан, я не стал это обсуждать. Я просто отнес эту реакцию (я не разделял ее тогда, я по-другому думал — социализм с человеческим лицом и все такое), отнес это на возраст, на поколение В.И. Хотя теперь я понимаю, что его слова надо было понимать буквально, что он был абсолютно прав, потому что последствия этого события он испытал в полной мере.

Известен эпизод, он и в печати встречался, о том, как Тамаркин, его друг и соавтор по 1-му тому, как он убежал когда-то в 1920-х годах. Он убежал в Эстонию, по какому-то из озер — Чудскому или Псковскому, по льду. Контрабандисты вели. Апокриф состоит в том, что он прибыл обросший, в ватнике сразу к американскому консулу, который его попросил написать уравнение эллипса и остаточный член формулы Тейлора, дабы убедиться, что он действительно математик, ну, и так далее. Я думаю, что это апокриф: я много раз слышал и читал об этом, но В.И. об этом эпизоде ничего не говорил. Он мне только рассказал, что в ту ночь, когда исчез Тамаркин (не знаю, ставил ли он В.И. в известность или нет, но вот он как-то исчез) — ночью раздался стук в дверь. Он услышал топот шагов по коридору и решил, что пришли за ним. А В.И. тогда жил с братом в одной квартире. «Пришли не за мной, а за братом, и брата я больше никогда не видел». Брат был расстрелян...

Ужасные были эпизоды. Не столь кровавые, но по-своему ужасные. Мое поколение видело это. Есть такая книжка: «На ленинградском математическом фронте», написана в начале тридцатых годов. Сейчас нашим студентам на матмехе читают курс истории. Хорошо это или плохо, не будем обсуждать. Если уж читают, я бы очень хотел, чтобы обязательно книгу эту им показывали как-то и обсуждали.

Эта книга написана абсолютно невежественными, думаю, что отвратительными людьми, которые тогда царили на матмехе, имели власть. Они писали о старых профессорах, как-то их классифицировали: кто попутчик, кто враг. По-моему, В.И. там числился в попутчиках, в общем, какой-то не до конца враждебный. Всем как-то было роздано. Вообще, эту лексику, этот тон, эту обстановку, эту атмосферу можно почувствовать, почитав эту книгу. Там в одной из статей сказано, что каждый советский математик должен быть чекистом. Это почти дословно совпадает со статьей, которую мне довелось почитать в немецком журнале 1936 года Deutsche Mathematik, где ровно то же самое говорилось: нам не нужен персонаж из анекдотов о профессорской рассеянности, а нужен молодой боевой математик — национал-социалист.

20 июня 2008 года

Несколько слов в дополнение к тому, что я говорил 19 мая. В тот момент я вспоминал свои ощущения о чтении книги «На ленинградском математическом фронте». После моего выступления мне довелось получить ее и перечитать. Книга вышла в 1931 году, и, в основном, там используются документы 1930 и 1931 года. Эта незначительная деталь может представлять интерес в связи с тем, что вскоре после этого произошли некоторые изменения в политике тогдашнего руководства. Эти изменения не смягчили кошмарные события, которые происходили впоследствии, в частности, в 1937 году и в 1940-х годах, в области идеологии, в области взаимоотношений с наукой, с учеными. Было много ужасного и кровавого, но, тем не менее, 1932 год, по-видимому, уже был неким рубежом, после которого определенные, ну, совершенно патологические, чтобы не сказать, идиотские, установки все-таки были преодолены. В книге, о которой я говорю, сейчас я довольно точно цитирую, упоминается так называемая марксистско-ленинская математика и обсу-

ждается вопрос о том, что математики должны руководствоваться диалектическим материализмом в своей профессиональной деятельности... В этой книге я с огорчением прочел некоторые покаянные письма достойных замечательных людей, но подписи В.И. ни под одним из этих писем нету, что в то время требовало немалого мужества. И, по-видимому, руководство как-то стало понимать, что это просто вредно для государства. И в литературе, насколько помню, в 1932 году, был ликвидирован РАПП, а в 1934 был создан Союз советских писателей. Я ничего особо хорошего про эту организацию сказать не могу, но, во всяком случае, вот такие абсолютно психопатические элементы, которыми руководствовались тогдашние политики в отношении литературы, от этого отошли. Или, скажем, произошли изменения в школьном деле. В фельетоне Ильфа и Петрова упоминается разговор с тогдашним школьником, которого спросили, кто была Екатерина II, и он сказал, что Екатерина II была продукт — продукт разложения феодальных отношений. Но он не знал, какую должность она занимала и не мог сказать, что она была императрицей. От такого подхода все-таки решили отказаться, и это, конечно, сказалось и в университете. Люди, которые писали эту книгу-донос, сошли со сцены, и некая нормализация в этом отношении все-таки произошла.

В этой книге, которую я упоминал, встречается в бранном смысле термин «киселевщина». Я знаю точно, что уже в 1934 году Киселев, автор знаменитых учебников[1], перестал быть персоной non grata. В 1934 году происходила в Ленинграде первая олимпиада. Ее участник — Глеб Павлович Акилов, тогда ему было 13 лет, он был победителем. И в качестве награды победителей водили пить чай к Киселеву. То есть уже в 1934 году, видимо, термин «киселевщина» отсутствовал. А киселевские учебники заняли свое прежнее положение в школе. Ужасные гонения на специалистов, на математиков, как-то вот «сошли на нет», наверняка, к середине 1930-х годов. И дальше произошло то, о чем я говорил: В.И. стал академиком, стал награждаемым, ему простили религиозность... Хотя это не отменило многих-многих ужасных обстоятельств, сопровождавших его, в общем-то, до конца жизни.

Я хочу сказать о времени, в которое жил В.И. Все знали, что он регулярно ходил в церковь. Тогда это была улика. И что ему приходилось переживать, и в какой обстановке работать, можно себе только представить. Потом времена изменились, в частности, отношение к религии: Сталин решил как-то это поменять. И В.И. был как-то прощен и даже, я бы сказал, он стал персоной grata в партийных верхах. Он стал Героем Социалистического труда и лауреатом Сталинской премии. Между прочим, никакого, опять-таки, пафоса и очень большой серьезности в связи с этим он, точно, не испытывал. Скажу об одном маленьком эпизоде. Мы сидели как-то, занимались за его столом. Что-то ему надо было достать, карандаш. Он выдвинул ящик, я увидел там все вверх тормашками, карандаши, всякие принадлежности. И между ними я увидел Звезду Героя и орден Ленина, там они так лежали. Он на меня покосился, я, разумеется, не спрашивал, не комментировал. В общем, особого пиетета и сакральности какой-то явно в нем не было. Но когда он ездил в партком, а он это делал с некоторых пор, в сером костюме, он всегда надевал, и там его привечали, с некоторых пор он был вхож. А ездил он туда, чтобы кому-нибудь выхлопотать квартиру или что-нибудь такое. Это было хорошо известно.

[1] Школьные учебники арифметики, алгебры, геометрии А.П. Киселева, по 30-40 изданий — *ред.*

Но во всех этапах своей жизни, которые часто были весьма горестными и тяжелыми, — я закончу не так, как говорил бы В.И., не без некоторого пафоса, — всегда в нем чувствовался какой-то стержень, какая-то сверхзадача, какой-то императив, которому он следовал. Ему, по-видимому, было жизненно важно, чтобы в Питере продолжалась математика. Вот, она была ему передана, он общался с великими русскими математиками, и он все делал для того, чтобы этот огонек тут не затухал.

Последний эпизод, который я расскажу в этой связи, который характерен для В.И. Мой учитель, потом близкий друг, покойный Глеб Павлович Акилов, работал в университете. У него были проблемы с жильем. Просто обижали его, не давали ему квартиру. А это все было, между прочим, в руках начальства, партийного, в том числе. Он жил, в общем, в неприятных жилищных условиях. И — когда начались отъезды в Новосибирск, или, может быть, даже раньше, — он решил уйти из университета, потому что в очередной раз очередная попытка получить квартиру не увенчалась успехом. Стало известно, что Акилов уходит. Его пригласил придти на беседу В.И. Смирнов. И он говорил ему такие слова, что из университета не уходят. Видимо, это из контекста следовало: такие люди, как Вы, Вы не можете уйти из университета. И приводил ему в пример Николая Максимовича Гюнтера, у которого были большие неприятности, когда его травили, когда писали, что он не марксист, всякую чушь... И его-таки как-то уволили из университета, и он по суду или через профсоюз как-то добился, что в те времена его восстановили. Но главное, говорит, Вы не можете уйти из университета. Не думаю, чтобы он произносил слово «долг», думаю, что нет. Но такое вот настроение, такой императив был им выражен.

Мы сейчас переживаем по-своему тоже трудную эпоху. Ну, слава Богу, не кровавую, нет этого математического фронта, не сажают, не стреляют (держусь за дерево). Но все-таки мы находимся под натиском довольно серьезных и опасных угроз. Я имею в виду, простите, некоторую атмосферу всеобщей дебилизации, некоего поглупения: болонизация, ЕГЭ... Я вовсе не хочу выделять нашу страну, это всемирный процесс. Во многом его источники находятся за океаном. Наши коллеги, которые там работают, волками воют насчет того, что происходит там в университетах. Мы живем в эпоху нового средневековья, с компьютерами, со спутниками, с мобильными телефонами. И это давление мы ощущаем все сильнее. Прошлой осенью в повестке дня была болонизация в университете, всерьез обсуждался вопрос, как раскроить программы, чего не читать. Я предлагал: ну, давайте выбросим ряды Фурье. Вот такое происходит. Так дай нам Бог сил, чтобы память о наших учителях, о В.И. Смирнове, как-то нас укрепила, чтобы мы могли сохранять, в меру наших сил развивать и передавать то, что они нам оставили. То, что оставил нам В.И. Смирнов.

***Б.М. Макаров**:* Виктор Петрович! Ты мне рассказывал об отношении В.И. к городу, в связи с переездом Академии Наук, когда в 1930-е годы было принято решение перевести АН в Москву... Тогда Университет лишался очень многих учёных, которые уезжали в Москву, и кто-то из университетского начальства, — проректор, может быть, — специально пригласил В.И. на беседу, обхаживал его: «Вы, пожалуйста, в Москву не переезжайте, мы дадим Вам квартиру, мы знаем, что у Вас стеснённые такие обстоятельства» — вот тогда ему дали квартиру на Петроградской стороне. И В.И. говорил Виктору Петровичу: «А не знал этот человек, что я бы никогда не уехал из Ленинграда»...